

**«ПАНСЕВЕРНАЯ» ИДЕНТИЧНОСТЬ И ЗАГАДКИ КУЛЬТУРНОЙ ЧУЖДОСТИ
В МОНОГРАФИЯХ РУССКИХ ФИЛОСОФОВ**

На протяжении нескольких веков власть, наука, литература и педагогика вновь и вновь открывали, истолковывали и пытались изменить жизнь коренных народов Севера. В настоящее время педагогическая наука переживает процессы интенсивного самопознания, в процессе которого педагоги овладевают новым мышлением с четко выраженной личностной основой. Преподаватель изначально выступает не носителем совокупности научных знаний, а ориентирован на работу с человеческой индивидуальностью. Отождествление себя с той или иной группой — одна из составляющих образа «Я», позволяет педагогу ориентироваться в социокультурном пространстве. Причем не всегда эти параметры культурной идентичности воспринимаются осознанно, они входят в жизнь человека исподволь, незаметно и лишь по прошествии определенного времени становятся явными. В связи с этим настало время серьезного и глубокого осмысления культурных взаимоотношений северного и русского миров, чтобы на равных и с взаимным уважением вступить в очередное столетие совместного бытия.

Тысячелетняя экспансия восточнославянского аграрного общества «привела к включению в его состав многочисленных групп охотников и скотоводов. Больше не “иноземцы”, но по-прежнему чужаки, — пока они оставались “неоседлыми”, — эти народы были проблемой для чиновников, миссионеров и интеллигентов, которые стремились определить сущность “русскости” и “чуждости” для русских и чужаков. Судьба двух флангов восточного пограничья оказалась несхожей: если степные кочевники юга стали героями множества продуктивных мифов, то охотники и собиратели “северных окраин” редко угрожали оседлому (христианскому, цивилизованному миру) и в большинстве версий российского прошлого оставались невидимыми. Из всех нерусских подданных Российского государства и нерусских объектов российского попечительства и любопытства народы Севера оказались наименее поддающимися реформированию и осмыслению» (Юрий Слезкин. Арктические зеркала. М., 2008. С. 33). Вот, например, что писали о самоедах российские литераторы: «Самоеды едят друг друга, а также рыбу и оленье мясо, закалывают своих детей на угощение своим друзьям, ездят на собаках и оленях, метко стреляют, носят шкуры, имеют плоские лица и маленькие носы и торгуют соболем. В той же стране, по рассказам, живут самоеды, которые проводят летние месяцы в море, сбрасывая кожу; самоеды, которые каждую зиму умирают, когда вода потоком течет из их носов и примораживает их к земле; самоеды со ртом на темени, которые едят, помещая пищу под шапку и двигая плечами вверх и вниз; самоеды вообще без голов, у которых рот между плеч и глаза на груди, которые не могут говорить и едят сырые олени головы; самоеды, которые бродят под землей, и самоеды, которые пьют кровь человеческую “и всякую”» (Сказание о человецех незнаемых в восточной стране // Оксенов А. В. Слухи и вести о Сибири до Ермака // ССБ. № 4. 1887. С. 113–114). Повесть 15 века, которая содержит эти сведения, была компиляцией из сообщений русских путешественников и переводных литературных источников, особенно из популярного эллинистического романа, известного в России как «Александрия». Об этом пишет М. П. Алексеев (Сибирь в известиях западноевропейских путешественников и писателей, 13–17 вв. Иркутск, 1941. С. 122–123). Коренное население Севера представлялось следующим образом: «Живут яко скот в диких лесах» (Сибирские летописи. Россия, Археологическая комиссия. СПб., 1907. С. 331). В то же время русские пытались защитить малые народы от собственных дурных привычек. В XVII веке действовал Сибирский приказ «ясачных людей следовало

защищать от русского “воровства” (нарушения царских указов) и русских пороков. Не разрешалось продавать табак и спиртное; играть в азартные игры... купцы не имели права покупать пушнину в канун сбора ясака. Служилым людям не позволялось налагать слишком большой ясак, “чтоб им, ясачным людям было не в тягость”» (Юрий Слезкин. Арктические зеркала. С. 46). Следует сказать и о тех, кто пришел вместе с Ермаком завоевывать Сибирь. Мир казаков «состоял из бесконечного числа народов, каждый из которых имел свою веру и свой язык. Это не было временным отклонением от нормы, на смену которому должны были прийти обращение или откровение, это было нормальным положением дел, при котором от иноземцев ожидалось, что они останутся иноземцами. Некоторые из местных воинов и женщин могли присоединиться к казакам, и некоторые казаки могли просить местных духов о защите. Но никто не предполагал, что боги взаимно исключают друг друга и что русский бог вскоре восторжествует» ((Юрий Слезкин. Арктические зеркала. С. 55). С точки зрения Московского государства сибирские иноземцы должны были оставаться ясачными людьми, а это значило, «что они должны были оставаться иноземцами (иноверцами) и мужчинами (плательщиками ясака). Крещение туземных женщин и детей увеличивало число русских, не уменьшая при этом числа иноземцев. К тому же казаки неоднократно обращались к царю с просьбой прислать женщин, но чаще им приходилось воровать женщин из числа коренных народов Сибири. Самое популярное решение российских правителей состояло в том, чтобы крестить ненецких и остяцких женщин и детей. Женщины (как и дети) не регистрировались в качестве плательщика ясака, так что их уход из тайги и тундры не влек за собой немедленных потерь государственных доходов, позволяя в то же время утешить священников и узаконить детей, рожденных в приграничной зоне» (Огрызко И. И. Христианизация народов Тобольского Севера. С. 11, 14).

«Земля, которая была достаточно девственной, чтобы приютить дикарей и язычников, не могла быть вполне пригодной для христиан и европейцев. Северные “снежные пустыни” (обычно именовавшиеся Сибирью безотносительно к разделению на Европу и Азию) были местом ссылки, где метафорические дикари (преступники) могли воссоединиться с настоящими дикарями (инородцами) и где впавшие в немилость царедворцы могли быть погребены заживо. Однако с приходом в Россию романтизма, и в особенности с приходом в Сибирь ссыльных романтиков, эти представления начали меняться. Задолго до “декабря” Кондратий Рылеев поместил несколько байронических персонажей в зловещее сибирское окружение, а когда реальные благородные изгнанники, остро чувствовавшие свою принадлежность к поэтической традиции, оказались “во глубине сибирских руд”, бывшее вместилище вещей полезных и неописуемых превратилось в царство дикой природы (тем более живое, что оно было таким пустынным). Невинная Природа породила невинных детей, и вскоре сибирский литературный ландшафт оказался населен гордыми туземцами, которые “бесстрашно бродили вокруг шаманских могил”, не ставили ничего превыше свободы и наслаждались простыми радостями беззаботного кочевого существования». К ссыльным поэтам присоединились подающие надежды сибирские беллетристы, и в 1830-е годы несколько повестей о полудиких, но прекрасных тунгусских девушках растрогали петербургских рецензентов. Русская Сибирь приобрела «собственного Джеймса Фенимора Купера в лице Ивана Калашникова, а коренные жители Сибири приобрели черты последних могикан» (Юрий Слезкин. Арктические зеркала. С. 95).

Романтическое перевоплощение бывших дикарей в детей природы было сопряжено с переосмыслением как природы, так и детства. Дикари стали скорее несчастными, чем отвратительными, еще в екатерининские времена, но в начале XIX века некоторые авторы начали утверждать, что, возможно, настоящими дикарями являются европейцы,

что у европейских красавиц «болезненные признаки тела» в сравнении с «восточными азиатками», что «каждый народ более или менее предан суеверию», что европейские армии могут так же, как любые туземцы, утраститься превосходящей силы оружия, что северные инородцы в целом «добрее и простее Русских Сибиряков» и что поэтому образование «более вредно, чем полезно» (Восточная Сибирь в ранней художественной прозе. Иркутск, 1938. С. 48).

«По сравнению с другими вновь открытыми родственниками индейцев, албанцев и шотландских горцев, коренные северяне были не особенно заметными или примечательными. В байронический век “ужаса и блеска” тайга и тундра не могли соперничать с величественными горными вершинами, плодородными долинами и бурными потоками Кавказа, точно так же как относительно мирные занятия народов Севера казались “робостью” в сравнении с неумолимой свирепостью романических черкесов» (Юрий Слезкин. Арктические зеркала. С. 96). Ссылный декабрист А. А. Бестужев-Марлинский, который одним из первых ввел жителей Арктики в высокую литературу, испытал явное облегчение, когда наконец покинул Север с его рыбоподобными обитателями и переехал на Кавказ (Бестужев-Марлинский А. А. Сочинения: В 2 т. М., 1958. Т. 2. С. 294).

«Впрочем, к концу 1840-х годов как сибиряки, так и черкесы — наравне с лордом Байроном, сэром Вальтером Скотом и бесчисленными инородцами и экзотическими сынами природы — стали лишними в мире русской интеллигенции. В своем возрастающем отчуждении культурная элита Москвы и Петербурга открыла благородного дикаря, которому она могла посвятить себя без остатка: русского крестьянина. Его следовало боготворить, изучать или спасать; он был хранителем подлинных ценностей, внутренним стержнем ищущего интеллигента и спасителем России (и, возможно, вселенной). Большинство писателей и ученых спустились с гор на Великую Русскую равнину. К 1850-м годам академики-“немцы” были наголову разбиты академиками-“патриотами”, и Русское географическое общество формально определило свою цель как “изучение Русской земли и Русского народа”» (Пятидесятилетие Императорского русского географического общества // ИВ. 1986. Т. 63. С. 279–290). Согласно историку Гавриилу Успенскому, рассказы о непросвещенных народах следовало отвергнуть в пользу «описания прежних нравов, обыкновения и учреждений такого народа, который в наши времена находится на высочайшей степени своего величия, могущества и славы» (Токарев С. А. История русской этнографии. Дооктябрьский период. М., 1966. С. 180). В финале романтической драмы А. С. Хомякова Ермак восклицает: «Сибири боле нет: отныне здесь Россия!» (Хомяков А. С. Стихотворения и драмы. Л., 1969. С. 277). Как писал П. А. Словцов, «история Сибири для нас выходит из пелен самозабвения не ранее, как по падении ханской чалмы с головы Кучумовой» (Словцов П. А. Историческое обозрение Сибири. СПб., 1886. С. XX).

Н. М. Карамзин назвал Ермака «российским Пизарро» («не менее Испанского грозным для диких народов, менее ужасным для человечества»), который открыл «второй новый мир для Европы... Где судоходные реки, большие рыбные озера и плодоносные цветущие долины, осененные высокими тополями, в безмолвии пустынь ждут трудолюбивых обитателей, чтобы в течение веков представить новые успехи гражданской деятельности, дать простор стесненным в Европе народам и гостеприимно облагодетельствовать излишек их многолюдства» (Карамзин Н. М. История государства Российского. М., 1989. Т. 9. Гл. 6. С. 226. С. 218–219).

К сожалению, в эпоху романтического национализма туземцы пришлось не ко двору, потому что они не были русскими в смысле языка, веры, каши и песен: потому что, как сказал Ермак Полевого сибирскому шаману, «в их груди не бьется русское сердце!» (Полевой Н. А. Ермак Тимофеевич, или Волга и Сибирь. СПб., 1845. С. 110).

Н. М. Пржевальский еще более бескомпромиссен в своих высказываниях. Вот что он написал об охотнике-ороче: «Живя как зверь в берлоге, он забывает всякие человеческие стремления и, как животное, заботится только о насыщении своего желудка... Ничто духовное, человеческое для него не существует» (*Пржевальский Н. М. Путешествие в Уссурийском крае. 1867-1869. СПб., 1870. С. 104*). Таким образом романтический примитивизм не исчез полностью. «Туземца могли упрекать за поедание тухлой рыбы, дурное обращение с женой и умерщвление престарелых родителей, но его нельзя было не похвалить за простоту, великодушие и терпение. Подобное сочетание презренного и прекрасного стало каноническим в начале века и оставалось общепринятым более ста лет (*Юрий Слезкин. Арктические зеркала. С. 100*). Даже самые суровые критики (большинство которых были сибирскими интеллигентами) впадали в сентиментальность, говоря о «простодушных чадах природы», которые «не думают о богатстве, о чести, о славе; не заботятся о завтрашнем дне» (*Корнилов А. М. Замечания о Сибири сенатора Корнилова. СПб., 1828. С. 56*).

Самоеды, которые для Радищева и Зуева были «глупейшим» народом Западной Сибири, стали предпочтительнее, чем их соседи-остяки, «вольные» и беззаботные кочевые народы считались морально выше оседлых (*Радищев А. Н. Полн. собр. соч.: В 3 т. М.; Л., Т. 3. С. 135. Зуев В. Ф. Материалы по этнографии Сибири XVIII в. М.; Л., 1947. С. 23*).

Матиас Александр Кастрен писал: «Иногда мне приходило в голову, что светлый инстинкт, невинная простота, добродушие этих так называемых детей природы могли бы во многих отношениях пристыдить европейскую мудрость; но вообще в продолжение моих странствий по пустыням, к крайнему сожалению, я замечал рядом с хорошими чертами характера столько отвратительного, грубо животного, что я не столько любил, сколько жалел их» (*Кастрен М. А. Путешествие Александра Кастрена по Лапландии, северной России и Сибири // Магазин землеведения и путешествий. 1860. Т. 6. № 2. С. 178*). В то же время многие писатели отмечали гармоничность природного и человеческого миров жителей Арктического региона. «Много ли их, таких вот людей, осталось на планете, которые понимают душу зверя, как собственную, понимают его язык и повадки, а главное, понимают, как необходима для человека естественная связь с его меньшими братьями, и не только с ними, а с каждым листочком, с каждой травинкой, со всем, что входит в великое понятие — жизнь» (*Шундик Н. Белый шаман // Шундик Н. Собр. соч. Т. 3. С. 522–523*).

В 1960-е и 1970-е новое поколение северных поэтов, учителей и библиотекарей обучалось в столичных вузах СССР. «Они застали “мир будущего” в состоянии смущения и цинизма. Как все новые элиты, вырвавшиеся из “мира прошлого”, они должны были определить свою позицию по отношению к своим новым братьям (в данном случае — к русской интеллигенции) и старым братьям («народу») — задача тем более неотложная, что от официального союза интеллигенции мало что осталось. Некоторые предпочли остаться “западниками”, т. е. считали, что национальная элита должна быть равной элите господствующей и что “народ” должен постепенно, с помощью образования, присоединиться к клубу избранных; но все больше интеллигентов из числа коренных народов пыталось сформировать особую, “пансеверную” идентичность, строившуюся на противопоставлении России. Сложность позиции “западников” состояла в том, что северянин должен был стать русским, оставаясь представителем своего народа, ибо такое представительство было, согласно советским и традиционным российским воззрениям, священной миссией любой национальной интеллигенции. В самом деле, чтобы считаться национальным автором, надо было получить российское образование. Более того, равенство — в том смысле, в каком советский нерусский гражданин мог быть равным, — никак не наступало. В застойные 1970-е годы, когда большинство официальных

ценностей подвергалось карнавальному развенчанию, чукчи стали главными героями анекдотов, в которых пародировались советские заявления о грандиозных достижениях ранее отсталых народов (включая советский). Таким образом, коренные северяне пригодились фольклорным мифотворцам по тем же самым причинам, по которым они были нужны создателям социалистического реализма: будучи крайним случаем, они обеспечивали максимальную назидательность в героическом жанре и наиболее разительное неправдоподобие — в комическом. Тем временем профессиональные ученые отказывались признавать коренные народы Севера нациями, иногда пряча свой отказ за не поддающимся точному определению понятием “народность”. Мог ли представитель народности быть равным представителю (великой) нации, особенно, если этот последний выражал свое неприятие советского эгалитаризма, смеясь над чукчей из анекдотов?

Можно было попробовать избавиться от непрестижной ассоциации, отказавшись представлять кого бы то ни было и настаивая на полной культурной ассимиляции или на абсолютном индивидуализме. Но эта позиция редко выдерживала моральную цензуру, поскольку выглядела как предательство родителей (а значит, для некоторых — самого себя) и создавала серьезные практические неудобства, поскольку русскость все чаще отождествлялась с принадлежностью к “белой” расе. Таким образом, как в случае немецких романтиков, русских народников и поэтов негритюда, среди прочих, решение заключалось в национальном самоутверждении, в переосмыслении отсталости как чистоты, а прогресса как развращения. А это означало, что интеллигент должен был не просвещать “народ”, а сам у него учиться, приобщаясь к его древней мудрости.

В соответствии с этим переводы и толкование северного фольклора стали важным видом научной и политической деятельности, а “моя земля” и “мой народ” стали главными лирическими темами молодых авторов, воспевавших свои корни и свою принадлежность к простому и величественному миру своих предков» (Юрий Слезкин. Арктические зеркала. С. 409–411).

Г. П. Ледков, М. М. Соловьёв

**ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ —
ОСНОВА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ
СЕВЕРА, СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Стратегия и долгосрочные программы развития Российской Федерации (такие как Стратегия РФ-2020, крупномасштабные федеральные программы и национальные проекты) в своей фундаментальной основе ориентированы на надежное обеспечение устойчивого социально-экономического развития страны в целом и каждого из ее регионов, отраслей народного хозяйства и социальной сферы, хозяйствующих субъектов всех форм собственности, общества в целом и каждого из населяющих страну народов. При этом устойчивое развитие подразумевает, наряду с всесторонним и качественным удовлетворением потребностей общества в настоящее время, заботу об интересах и потребностях последующих поколений, духовном и культурном наследии, продуманную политику в защите окружающей среды и рациональном использовании природно-ресурсного потенциала¹.

¹ Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года. Утв. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р. www.ifar.ru/ofdocs/rus/rus006.pdf.